

Мария Стенина, Софья Порфирьева
«Вот я, мне же вопреки»

К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО
БЕССИЛИЯ

Mariia Stenina, Sofia Porfiryeva

«Behold Me, Against Myself»: Toward a Phenomenology of Epistemic Powerlessness

Мария Стенина

Независимая исследовательница
mariia.v.stenina@gmail.com.

Софья Порфирьева

Университет Оттавы, Факультет социальных наук; докторант
sophyigorevna@gmail.com.

Ключевые слова: феноменология, травма, свидетель, опыт, память, тело, эпистемологическое бессилие

UDK: 111+171+177

DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_85

Статья описывает травматический опыт жертвы сексуализированного насилия на основе пьесы Сьюзи Миллер «Prima Facie» (2019). Травмированный субъект оказывается в ситуации эпистемологического бессилия, поскольку травма дана ему только в форме аффективного следа. Будучи не датируемым событием, она превосходит индивидуальную историю и не дает субъекту присвоить этот опыт. Феноменологический подход предлагает реконструировать это переживание, отталкиваясь от несоответствия аффекта и его языковой фиксации. Поэтому случай Тессы, главной героини пьесы, рассматривается как свидетельство о невозможном. Ее голос переходит из регистра юридического доказательства в регистр свидетельства: речи, опирающейся не на верификацию, а на доверие и аффективное присутствие Другого. Утраченная возможность верификации открывает иное отношение к знанию. К финалу пьесы таким актом свидетельства оказывается заключительный монолог Тессы, возвращающий ей присутствие в собственном опыте.

Mariia Stenina

Independent researcher
mariia.v.stenina@gmail.com.

Sofia Porfiryeva

University of Ottawa, Faculty of Social Science; PhD Candidate
sophyigorevna@gmail.com.

Keywords: phenomenology, trauma, witness, experience, memory, body, epistemic powerlessness

UDC: 111+171+177

DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_85

The article examines the traumatic experience of Tessa, the victim of sexualized harassment in Suzie Miller's play «Prima Facie» (2019). This experience can be conceptualized in terms of epistemic powerlessness, since the trauma is given to the subject only as an affective trace that cannot be appropriated. A phenomenological approach makes it possible to reconstruct this experience by foregrounding the fundamental irreducibility of affect to its linguistic capture. In this light, Tessa's case is treated as testimony to the impossible. Her voice shifts from the register of legal proof to the register of testimony — a mode of speech grounded not in verification but in trust and the affective co-presence of the Other. Yet the loss of the possibility of verification reveals the potential for another relation to knowledge — one grounded not in proof, but in attention, time, and affective co-presence. By the end of the play, Tessa's monologue emerges as such an act of testimony, restoring her presence within her experience.

Женщина в серой спортивной футболке садится перед установленной на уровне глаз видеокamerой. Штатив настроен так, чтобы в кадр попадало только ее лицо. Кисти рук сцеплены и лежат на коленях; она явно нервничает. Изображение крупным планом транслируется через проектор. Она повернута спиной и выражение лица можно увидеть только на экране.

Тесса Джейн Энслер. Нет. Нет, спасибо, да. Да, я понимаю, что наш разговор записывают, да. Я хотела заявить о... Потому что я думаю... Потому что я была... Со мной кое-что произошло. Прошлой ночью, этим утром, я... Я столкнулась с сексуализированным насилием¹.

Перед нами одна из центральных сцен пьесы «Prima Facie» австралийской драматургини Сьюзи Миллер. Поскольку пьеса изначально задумана как моноспектакль, история Тессы доступна зрителю от первого лица — в форме монолога, хронология которого охватывает чуть больше двух лет ее жизни. Драматургия пьесы построена вокруг столкновения личной и профессиональной историй Тессы: в первом действии она выступает в роли успешной адвокаты, защищающей подозреваемых по делам о сексуализированном насилии; во второй сама оказывается жертвой насилия и проходит в статусе потерпевшей по очередному такому делу. В первом приближении кажется, что конфликт строится на переходе от роли сторонней наблюдательницы к роли участницы некоторого события, в юридической практике проходящего под рубрикой «сексуализированное насилие». К такой интерпретации неоднократно подталкивает и сама главная героиня, называя свою ситуацию уникальной в силу произошедшей в зале суда рокировки, после которой она впервые оказалась *по ту сторону* трибуны. Если следовать этой интерпретации, именно изменение статуса героини становится отправной точкой в речи о жертвах сексуализированного насилия, венчающей пьесу. Прочитируем ее целиком:

Ваша честь, я нахожусь здесь в уникальном положении. Обычно я стою рядом с трибуной суда, но сейчас я в этом зале как истец, свидетель и жертва. Когда я была адвокатом, я проводила допросы женщин в делах о сексуальных домогательствах, полагая, что доказательства могут быть предоставлены четко и логически. А теперь я на своем собственном опыте увидела, что это невозможно. Всю свою профессиональную жизнь я была частью системы, которая так обращалась с женщинами; теперь я знаю, что это неправильно. Это неразумно, потому что теперь, из собственного опыта женщины и юристки, я знаю, что пережитый опыт сексуализированного насилия не запоминается в форме аккуратного и выверенного наукообразного повествования. Вот почему закон часто воспринимает доказательства как неправдоподобные. <...> Если женщина напугана, заново переживая этот ужас в зале суда, если ее описание насилия не соответствует ожиданиям суда, мы делаем вывод, что она склонна преувеличивать. Именно поэтому ей так часто и не верят. Сейчас в суде я хочу бросить вызов этой практике. Закон о сексуализированном насилии вращается не по той оси. Женский опыт проживания насилия не вписывается в построенную мужчинами систему истины. Он не может быть правдой — а значит, не может быть и истиной правосудия. Закон формировался целыми поколениями мужчин. Совсем недавно точно такие же суды не рассматривали как изнасилование секс без согласия в браке. Они не видели, что избиваемые женщины пытаются сопротивляться в манере, совершенно отличной от мужской. Увидев это один раз, уже не развидишь, правда? Теперь я на собственном опыте вижу, что в делах об изнасиловании мы все делали неправильно. Вместо того, чтобы испытывать на прочность положения закона, мы продолжаем допрашивать жертву. Закон — органическая вещь, это мы его определяем, мы его

1 Здесь и далее перевод наш. — М.С., С.П.

конструируем исходя из собственного опыта. Опыта каждого из нас. Поэтому больше нет оправданий. Закон должен измениться, потому что правда в том, что сексуальному насилию подвергается каждая третья женщина, и их голоса надо услышать, им нужно поверить, чтобы свершилось правосудие.

Каждая третья. Посмотрите налево. Посмотрите направо. Это одна из нас.

Будучи политическим заявлением, эта речь переводит случившееся с героиней событие в плоскость юридической практики, где проблема приобретает статус структурной и рассматривается в терминах видимости и невидимости жертв и справедливости или несправедливости вынесенных по похожим делам приговоров. Во внутренней логике пьесы личная история Тессы становится одним из примеров юридического феномена — одним из множества голосов, который хоть и не был услышан в суде (обвиняемый получил оправдательный приговор), но все же прозвучал в публичном пространстве. Именно поэтому опыт переживания сексуализированного насилия уместается в формулу «случай Тессы» и становится показательным примером несовершенств в законодательстве — тем более показательным, что играет на контрасте «ролей», которые героине пришлось сменить.

Впрочем, если бы проблема состояла только в том, что во второй части пьесы Тесса оказывается неспособной от первого лица сказать «этого не было» там, где она была способна сказать так от третьего, суть дела свелась бы к вопросу о несправедливости приговора, вынесенного судом, и эмоциональному проживанию этой несправедливости. Вынесенный насильнику оправдательный приговор, безусловно, занимает важное место в канве повествования и отсылает к структурной проблеме, которой посвящен заключительный монолог. Во многом он строится на свидетельстве от первого лица — свидетельстве потерпевшей, голос которой остался неслышанным в суде и не нашел соразмерного места в юридическом кейсе, разрешенном не в ее пользу.

Не отказываясь от этой общей интерпретационной рамки, в нашей статье мы предлагаем сменить оптику и рассматривать случай Тессы в перспективе вопроса об опыте свидетельства — как, во-первых, свидетельства о травме, и, во-вторых, *свидетельства о самой себе*². Второй аспект такого опыта связан с магистральной гипотезой нашей статьи, которая состоит в следующем: тот, над кем

2 Романо вводит фигуру свидетеля свидетеля (*témoignage du témoin*), настаивая на рефлексивности — в кантовском смысле — выносимого им этического суждения. Фактически он предлагает понимать акт свидетельства как акт учреждения самого субъекта, который «свидетельствует о том, кто он есть сам». В нашей статье под свидетелем свидетеля мы чаще будем иметь в виду Другого, который свидетельство принимает и разделяет; эта интерпретация перекликается с концепцией Жака Деррида: «Получатель свидетельства, свидетель свидетеля, не видел того, что, по его словам, видел свидетель: не видел и никогда не увидит. Именно отсутствием у получателя прямого или непосредственного доступа к предмету свидетельства отмечено неприсутствие “свидетеля свидетеля” при самой вещи». «Свидетель свидетеля» Романо в контексте нашей статьи совпадает с фигурой «свидетеля жертвы». См.: *Derrida J. Poétique et politique du témoignage // J. Derrida, M.-L. Mallet et G. Michaud (eds.). Cahier de L’Herne. Paris: Éditions de L’Herne, 2004. № 83. P. 521–539, 527; Romano C. À l’écoute du témoignage // Gaudard F.Ch. & Suarez M. (éds.) Réception et usages des témoignages. Toulouse: Éditions Universitaires du Sud, 2007. P. 21–36, 24.* Я благодарна Георгию Чернавину, обратившему мое внимание на эту статью (прим. — М.С.).

совершается насилие, в акте насилия низводится до объекта³, безмолвной и лишенной субъектности жертвы. Чтобы смочь говорить о пережитой травме, жертве нужен свидетель, которым она, оставшись наедине с травмой, вынуждена стать сама. Рефлексивная установка в отношении травмы, как и возможность заговорить о ней в целом, на наш взгляд, продиктованы поиском Другого, способного удостоверить жертву в реальности произошедшего с ней, разделить переживание. Однако там, где мы касаемся интересубъективности, уже невозможно тематизировать чистую додискурсивную чувственность, живой опыт. Свидетельствующая о своем опыте жертва не полагается на разделяемость опыта — особенно если речь идет о его пограничных, нелабораторных формах, — которая предполагала бы, что у Другого есть возможность прожить ровно то же самое. Она полагается на возможность разделить этот опыт с Другим в суждении. Возможность сойтись в интерпретации случившегося, назвав его своим именем, и вместе распознать в событиях одной ночи сексуализированное насилие.

В «Prima Facie» мы, таким образом, видим попытку перформативно показать особого рода несоразмерность, присущую травме и проявляющуюся как на уровне чувственности (аффективная сторона свидетельства), так и на уровне языка (дискурсивная сторона). В этом исследовании мы придерживаемся феноменологической стратегии и ставим целью не поиск объяснительной модели в стиле психиатрического подхода, а описание механизма травмы, то есть — предлагаем дескрипцию травматического опыта. Такая дескрипция, на наш взгляд, возможна в пространстве, открытом между двумя понятиями: свидетельство о травматическом опыте и эпистемологическое бессилие.

Мы называем *эпистемологическим бессилием*⁴ предельную форму разрыва между опытом, знанием и признанием. Это состояние, в котором субъект утрачивает возможность превратить пережитый опыт в знание, а знание — в признанный факт. Эпистемологическое бессилие — это разрушение самой структуры смысла, связывающего опыт, язык и Другого. В этой ситуации человек знает, но не может сделать это знание действенным в мире: не может его произнести, оправдать или передать, потому что сам мир, в котором знание обычно получает силу, перестает откликаться.

Подобный разрыв сопутствует любой травме. Чтобы заново обрести субъектность, жертве приходится стать свидетелем — занять позицию, обычно ассоциируемую с третьим лицом, местом арбитра между двумя заинтересованными сторонами. Но поскольку в случае сексуализированного насилия травма

-
- 3 Из этого, впрочем, не следует, что насильник совершает акт насилия над объектом. Скорее, само насилие движимо желанием лишить жертву субъектности. Именно с утратой собственной субъектности (или ее окончательным обретением, сделавшим возможной сознательную диссоциацию; два крайних случая здесь парадоксальным образом совпадают) связывает завершение эпизодов насилия со стороны отчима Неж Синно, комментируя строки из протокола судебного заседания: «*Он прервал любые взаимодействия в день, когда Неж сообщила ему, что не присутствовала во время их контактов, и что насилие совершалось над другим человеком*». <...> Я помню этот разговор, и помню, как сама анализировала наше взаимодействие, высказывала свое мнение и возражала ему: “Нет, между нами нет никакой особенной связи, о которой ты говоришь; ты думаешь, что можешь меня заполучить, но это не я, это только мое тело”». *Sinno N. Triste tigre*. Paris: Gallimard, Folio, 2025. P. 124–125.
- 4 Тематизируя травматический опыт в терминах эпистемологического бессилия, мы вдохновляемся размышлениями философа Елены Косиловой (1966–2025), оформившимися в книге «Бессилие» (2023).

не может быть «здесь и сейчас» разделена с другими, травмированный субъект совмещает позиции свидетеля и жертвы в одном лице. Для начала следует обратиться к понятию свидетельства.

Свидетель травмы, свидетель жертвы, свидетель свидетеля

Я — та, с кем это случилось. Кто эта я, кто говорит? Женщина, в которую превратилась дочь фриков с гор? Спелеолог слабого пола, как-то свалившаяся в озеро? Маленькая девочка с семью годами мучений за плечами, наконец сумевшая освободиться от своего тяжелого бремени, написав «острый репортаж»? Можно, наверное, сказать, что не так уж важно, кто говорит и откуда и из чьего сердца звучит этот рассказ. Хотя от жизни к жизни рассказ будет отличаться. Я — и эта девочка, и еще многие такие девочки; я несу в себе все голоса.

Неж Синно. Грустный тигр

История Тессы хорошо показывает *генезис свидетеля*: движение пьесы не исчерпывается переходом от третьего к первому лицу, от адвоката насильника к его жертве. Пережитое насилие полностью лишает Тессу адвокатского взгляда на вещи, цинично сформулированного в терминах «лучшей версии истории своего клиента». Однако в некотором смысле она не может остаться со своей травмой наедине: судебный процесс принуждает ее совмещать роль жертвы с ролью свидетельницы. Будучи единственной участницей события изнасилования — ведь для Джулиана (коллеги Тессы, впоследствии изнасиловавшего ее) и стороны защиты этого события *не было*, — она свидетельствует о себе как жертве от третьего лица, с позиции выжившей, способной говорить. Опыт сексуализированного насилия сделал Тессу жертвой, лишенной голоса. Именно попытка пережить травму, рассказав о том, что произошло, делает ее свидетельницей и удваивает перспективу. Однако свидетельствовать о такого рода травме — не то же самое, что свидетельствовать об убийстве или поджоге. В большинстве случаев свидетели оказываются дополнительными источниками информации об обстоятельствах преступления, без которых невозможно было бы установить юридический факт. Несмотря на то, что каждый из них незаменим, в совокупности от свидетелей ждут внутренне непротиворечивой картины преступления, где каждый из голосов хотя бы косвенно подтверждается другим, воплощая тем самым метафору *точки зрения*. Точка зрения требует объекта и признает в отношении этого объекта собственную относительность, необходимость быть дополненной другими точками зрения. Жертва сексуализированного насилия, вынужденная стать свидетелем, находится в иной ситуации, где переворачивается отношение между объективной и субъективной сторонами дела. Ответственность, в других делах распределенная между всеми свидетелями, теперь полностью лежит на жертве: это она *называет* событие изнасилованием, она выводит его в языковое пространство, которое в данном случае становится реальнее самой внеязыковой реальности. Языковое пространство — пространство, разделенное между людьми; высказанное в нем становится пред-

метом оценки и согласия, оспаривания и удостоверения. В отношении жертвы сексуализированного насилия такое пространство чаще всего оказывается враждебным — отчасти потому, что к фигуре свидетеля здесь по инерции продолжают предъявляться требования непредвзятости и логической связности показаний, которая фактически достигается только множественностью свидетелей. Именно об этом говорит Тесса в заключительной речи, упоминая «аккуратное и выверенное повествование». Критерием аккуратности оказывается взаимное соответствие множества показаний, которые, дополняя друг друга, способны создать непротиворечивую картину преступления. Жертва насилия остается одна — и именно поэтому вынуждена стать свидетелем самой себя.

Впрочем, удвоение перспективы жертвы перспективой свидетеля случается до собственно судебного контекста. Новая перспектива возникает внутри самого травматического события, которое в силу своей непредставимости превосходит возможности субъективной адаптации и провоцирует диссоциацию, сходную с феноменом, который во франко-немецкой психоаналитической традиции тематизируется в терминах расщепления (*Spaltung*). Такое расщепление в пьесе проиллюстрировано несколькими репликами Тессы: сначала — в момент изнасилования, где она множество раз повторяет «Он в другом месте, я не с ним» и «Этого не происходит»; в душе, где Тесса перебирает в голове потенциальные вопросы от третьего лица, а потом говорит, что, уходя из дома, как будто со стороны видит «себя, свою жизнь, которую построила; свою карьеру». В этом смысле фигура Тессы-свидетельницы возникает именно в тот момент, когда Тесса-жертва оказывается полностью бессильной и лишается субъектности. Изнасилование запоминается от третьего лица, возникающего в ходе диссоциации, которая, в свою очередь, оказывается именно симптомом «неусваиваемости», невозможности переживаемого здесь и сейчас, неспособности субъекта включить это переживание в поток согласованного опыта, принадлежащего *мне*. Опыт травмы несоразмерен субъекту, он превосходит его, одновременно убивая жертву и создавая свидетеля. Французский феноменолог Рудольф Бернет передает это парадоксальное свидетельство о своей и одновременно не своей травме емкой формулой «Вот я, мне же вопреки»⁵. Расщепление, изначально тематизированное в психоаналитической традиции, стало узнаваемым тропом многих текстов в жанре автофикшна, рассказывающих об опыте пережитой травмы. Так, например, Неж Синно в «Грустном тигре» задается вопросом, стоит ли ей, рассказывая о себе в подростковом возрасте — возрасте, когда она подвергалась регулярному сексуализированному насилию со стороны отчима, — употреблять местоимение «я» или «она». Размышляя о сложности этого выбора, Синно говорит, что делает его в первую очередь для читателя: для сорокачетырехлетней повествовательницы называть девочку-подростка «она» будет более реалистичным.

Впрочем, — продолжает Синно, — речь, конечно же, идет обо мне; я не испытываю того столь часто упоминаемого разными авторами странного беспокойства, которое возникает, когда смотришь на фотографии из своего прошлого; из этого прошлого я так и не вышла. Это все в настоящем. Это я, и это все сейчас⁶.

5 Бернет Р. Травмированный субъект // (Пост)феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами / Ред. С.С. Шолохова и А.В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. С. 123–144.

6 Sinno N. Triste tigre, op. cit. P. 61.

Сопоставляя фигуры Тессы и Неж, мы оказываемся перед достаточно парадоксальной картиной. С одной стороны, «здесь и сейчас» травмы во всей ее непредставимости отнимает у субъекта возможность пережить ее от первого лица, то есть в той рамке, в которой переживается любой «нормальный» опыт. Это переживание от первого лица можно понимать как постоянный процесс идентификации опыта в качестве своего, а само первое лицо — в терминах субъекта, способного быть автором своих мыслей, переживаний, действий⁷. Опыт травмы нельзя идентифицировать как свой, поскольку он всегда превосходит субъекта. В этом смысле удвоение первого лица третьим, то есть появление свидетельской перспективы, сопутствует любой травме, разделяющей индивидуальную историю на «до» и «после», ни одно из которых больше не может восприниматься самостоятельно. С другой стороны, травма не может быть забыта: даже в радикальных случаях посттравматической амнезии речь идет не о том, что событие не было зафиксировано соответствующей долей мозга и не осталось в памяти; напротив, будучи потенциально доступной, информация о событии не подлежит воспоминанию и продолжает влиять на поведение субъекта. Травму невозможно забыть, потому что ее невозможно полностью вспомнить: именно об этом говорит Тесса в одной из реплик на *voir-dire*⁸. Иными словами, травма не может стать *моим* воспоминанием — воспоминанием, которым можно было бы распорядиться. Отчасти поэтому в отношении травмы уместно говорить именно о свидетельской перспективе, даже если таким свидетелем оказывается единственный участник события.

Жак Деррида, вслед за Эмилем Бенвенистом, приводит два латинских термина — *testis* и *superstes* — и различает две конфигурации свидетельства. Термином *testis* обозначалось незаинтересованное лицо, лично в события не вовлеченное, но присутствовавшее при них. *Superstes*, в свою очередь, был частью событий и, чтобы свидетельствовать, должен был их пережить. Рассказ, исходящий от такого свидетеля, был не просто одной из возможных точек зрения на стороннее событие, но свидетельством выжившего (отсюда — существование биологических видов, названных *superstes*). Так, *superstes* самим собой — своей жизнью — свидетельствует о событии, которое одновременно с ним случилось и в определенном смысле его миновало, оставив в живых. Поэтому свидетельство *superstes* рассматривается как свидетельство вопреки — вопреки событию, которое должно было уничтожить как свидетеля, так

7 Ямпольская А. Гетерогенность самости: проблематизация идентичности у позднего Левинаса // ESSE: Философские и теологические исследования. 2019. Т. 4. № 2. С. 34–47, 36. Концепция идентичности как авторства «собственной истории», создания нарративной идентичности, принадлежит Полю Рикёру. Категории «собственного» и «моего», которые далее в статье применяются к опыту и оказываются невозможными в отношении травмы, связываются Рикёром с памятью, которая открывает пространство приватного по преимуществу. Этот мотив будет существенным для разговора о посттравматической амнезии и свидетеле-*superstes*, пережившем событие и свидетельствующем вопреки своей потенциальной смерти, то есть — вопреки забвению. См., напр.: Ricœur P. L'écriture de l'histoire et la représentation du passé // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2000. Vol. 55. № 4. P. 734.

8 «Поверьте мне как жертве: изнасилование и сам насильник запоминаются очень хорошо, побочные детали — намного меньше» (цит. выше по Miller S. Prima Facie // Drama Online. 2022 (URL: <https://www.dramaonlinelibrary.com/playtext-detail?docid=do-9781784607289&tocid=do-9781784607289-div-00000004&actid=do-9781784607289-div-00000010>).

и саму возможность свидетельствовать и помнить. Оно отмечено потенциальным уничтожением свидетеля, возникающего там, где жертва остается безмолвной, и говорящего из места, где должен был умереть.

Эта ситуация оказывается достаточно парадоксальной, если по юридической инерции рассматривать свидетельские показания в терминах полноты и непротиворечивости. Деррида подчеркивает, что в тот момент, когда свидетельство кажется наиболее бесспорным и приобретает статус проверяемой теоретической истины, оно рискует утратить свой смысл и статус свидетельства как таковой. Последний зиждется только на том, что свидетельство не может встроиться в порядок знания в качестве верифицируемого элемента, поэтому его важно отличать от доказательства. В свидетельстве в собственном смысле слова утверждается присутствие самого субъекта при событии и миновавшая его смерть. В качестве свидетельства *superstes* предъявляет самого себя.

Именно случай Тессы хорошо показывает гетерогенность между свидетельством и доказательством и их взаимную непереводаемость. Давать свидетельские показания в зале суда — значит предоставлять доказательства вины подсудимого, переводить субъективно испытанное в разряд факта, а изначально нейтральные детали превращать в улики. Ритуализированное предупреждение об ответственности за дачу заведомо ложных показаний не открывает пространство безоговорочной веры в том же смысле, в котором его открывает свидетельское «клянусь, что видел, слышал, чувствовал, был там»⁹. Кредит доверия выступающему в суде свидетелю необходим как предпосылка: это условие приобщения показаний к материалам дела и в конечном счете их употребления во имя чего-то другого — правосудия в самом общем, институциональном смысле. Суд приписывает таким свидетельским показаниям определенную валентность и рассматривает их только постольку, поскольку они не противоречат общим очертаниям дела. Свидетельство в суде (*доказательство* в терминах Деррида) используется для установления фактов и действительно теряет свой статус свидетельства, как только соотносится с объективной стороной событий.

Впрочем, мыслимы и те свидетельские показания, которые неспособны вписаться в рамки судебного кредита доверия. Именно таким оказывается свидетельство о пережитом сексуализированном насилии, которое может быть услышано только в особенной конфигурации пространства, на которой здесь стоит остановиться подробнее.

Безусловно, ключевой жест в свидетельстве жертвы — взять слово. Однако слишком заостряя личную храбрость, необходимую для рассказа о пережитом, мы рискуем упустить из виду¹⁰ сторону слушателя — Другого и других, к которым обращено свидетельство. Решающим в этом случае оказывается не поиск слов для невозможного, невыразимого опыта, но поиск слушателя, способного вынести насчет опосредованно доступного опыта этическое суждение.

9 *Derrida J.* Op. cit. P. 527.

10 См. сходные размышления у Синно, комментирующей газетную статью о судебном процессе над ее отчимом: «Он [журналист] считает, что маленькая девочка заговорила, чтобы освободиться; освободиться от страшного секрета. Нам сложно удержаться от идеи, что с тех пор, как она заговорила, ей намного лучше: ведь теперь она получила возможность разделить с другими свое тяжелое бремя. Правда, ни в одном допросе я не упоминала, что заговорила для того, чтобы освободиться; напротив, с самого начала я твердо стою на том, что я заговорила, чтобы защитить других» (*Sinno N.* Op. cit. P. 81).

Вслед за Деррида мы можем говорить о пространстве, которое перформативно учреждается словами «Я свидетельствую», имеющими мало общего с «Я докажу, что...». «Я свидетельствую» звучит как призыв «Поверьте мне», однако речь здесь идет о вере особого рода. Подобная вера (и, продолжая этимологический ряд, верность своему слову) не имеет эпистемологического потенциала; именно поэтому свидетельство не принадлежит порядку знания. Это не вера-предпосылка, необходимая для оперирования теоремами, полагаясь на аксиомы. Вера, необходимая свидетелю и слушателю, оказывается прагматико-перформативным жестом, открывающим два измерения: чувственное (которому принадлежит опыт свидетеля) и дискурсивное (в котором оформляется свидетельство, а слушатель получает опосредованный доступ к чувственному). Призыв поверить с одной стороны и готовность верить с другой создают общую систему координат, где свидетельство только и может быть выражено, поскольку, подчеркнем это еще раз, условием его возможности является не только преодоление разрыва между невозможным опытом и готовыми — и поэтому отчуждающими — языковыми конструкциями, но и готовность выслушать и принять свидетельство. Слушатель и свидетель связаны в этом пространстве обязательствами, которые со стороны последнего способно разрушить лжесвидетельство, а со стороны первого — попытка верифицировать сказанное. Первой угрозой общему пространству становится, таким образом, инструментализация свидетельства и его приравнивание к доказательству. Второй — преуменьшение или преувеличение разрыва между свидетелем и слушателем¹¹.

В освобожденном от юридических рамок свидетельстве тема присутствия проявляется на двух уровнях: свидетель заявляет как о своем присутствии при ушедшем в прошлое событии, так и о присутствии самого события, которое, будучи безмолвным, рискует утратить любую связь с реальностью. Присутствие при самой вещи отпечатывается на уровне чувственности и получает имя травматического опыта. Пока этот опыт остается серией «объективных» фактов (сведенных до уровня физических состояний) из индивидуальной истории субъекта, он не может оказаться в разделяемой системе координат и не может стать интересубъективно значимым. Безмолвному опыту нужен свидетель, и этот свидетель, в отличие от жертвы, не может остаться один: он ищет Другого и ищет возможности разделить этот опыт в этическом суждении.

Открытое здесь этическое измерение окончательно разводит свидетельство и доказательство. Устремленное к Другому свидетельство создает пространство взаимного признания и взаимной вовлеченности в «работу смысла»¹²,

11 См.: «В случае свидетельства <...> есть сложность и в том, чтобы его выслушать. Она таится в равновесии между двумя (не)возможностями: полностью подчинить чуждое знакомому, то есть упустить из виду уникальность свидетельства, мгновенно “преодолев” слова свидетеля в пользу передаваемых им фактов; или же, напротив, слишком настаивать на его чуждости — до той степени, когда суть произошедшего провозглашается невыразимой и некоммуницируемой. В первом случае мы имеем дело с иллюзией безошибочной близости и непосредственно разделяемого опыта; во втором — с иллюзией опыта, представляющего как закрытый и недоступный» (Romano C. Op. cit. P. 23).

12 В русском языке затирается полисемия английского *sense*, французского *sens* и немецкого *Sinn*. Так, например, размышляющие о травматическом опыте представители франкоязычной традиции исходят из самопонятной предпосылки о совпадении семантического (идеального) смысла и чувственного опыта, понимая «работу смысла» как челночное движение между переживанием и выражением, которые

несводимой к верификации фактов. Свидетель связывает себя со слушателем, которому его опыт недоступен, молчаливым *обещанием* говорить правду. Направленные навстречу друг другу обещание не лжесвидетельствовать и обещание верить оказываются взаимным авансом и открывают это пространство будущему. Не опыт, а именно акт веры — обещание говорить правду с одной стороны и обещание верить с другой — объединяют свидетеля и слушающего в момент создания общего пространства.

Случай Тессы поэтому можно рассматривать как трансформацию свидетельницы-*testis* в свидетельницу-*superstes*. История, которую она переживает, срабатывает как пусковой механизм и позволяет ей самой стать свидетельницей историй других женщин, разделить с ними невыговариваемый опыт, вынеся о нем суждение, публично назвав его сексуализированным насилием.

Эпистемологическое бессилие

В нашей работе мы определяем опыт через две ключевые характеристики. Во-первых, опыт никогда не бывает «чистым» или нейтральным. Нет никакого опыта *как такового*, предшествующего смыслу или языку. Чтобы что-то стало опытом, оно должно быть осмыслено, то есть получено в виде значения, вписано в историю, рассказано (даже если это исключительно внутренний диалог). Переживание становится опытом в тот момент, когда оно удерживается в памяти как событие, которое «случилось со мной», то есть тогда, когда между чувственным и понятийным возникает связь. Во-вторых, опыт никогда не бывает только «моим». То, что я переживаю, всегда уже разделено с другими, потому что язык, в котором я мыслю и называю происходящее, не принадлежит мне. Опыт — это способ быть в мире, а мир здесь не совокупность вещей, а пространство отношений и взаимного понимания. Я осмысляю то, что со мной произошло, через схемы, которые разделяются другими, и именно поэтому мой опыт всегда обращен наружу, в сторону признания.

Именно поэтому опыт уязвим: он существует только постольку, поскольку может быть услышан, разделен, признан. В социально-эпистемологическом измерении опыт всегда опосредован телесностью и отношением к Другому. Он оказывается зависим не только от структур восприятия, но и от структур власти, определяющих, чей опыт может быть признан, а чей — нет.

Таким образом, опыт — это не просто то, что происходит с субъектом, и не совокупность его внутренних состояний, а форма самопонимания, делающая возможным превращение пережитого в знание. Опыт — это событие, которое обретает смысл только в пространстве доступных коллективных категорий и интерпретаций. Опыт интересубъективен: между телесным аффектом и знанием всегда есть слой социально разделяемых смыслов, через которые человек узнает и понимает, что с ним произошло и каким образом это может быть

уточняют друг друга и создают динамичную структуру дискурса. Удержание всех основных значений *sens/sense/Sinn* — «смысл», «чувство», «направление» — позволяет нам мыслить пространство между свидетелем и слушателем одновременно в терминах опыта и суждения: невыразимого травматического опыта, который находит в совпадении этических суждений по его поводу что-то вроде «разрешения» и в перспективе по общему согласию рассматривается как чудовищный, недопустимый.

(вы)сказано. Когда эти герменевтические ресурсы отсутствуют или искажены, опыт теряет возможность быть распознанным как таковой.

Травма демонстрирует предельный случай этого состояния. Это тот тип опыта, который невозможно прожить в момент события и потому невозможно *зафиксировать* в привычных категориях знания. Травма превосходит субъекта, разрушает непрерывность его времени и подрывает саму возможность обладать опытом как таковым. Мерло-Понти подчеркивает, что

направленное на объекты сознание не удерживает травматический опыт в форме представления, которому можно было бы приписать точку во времени; он остается там только в виде некоего стиля бытия¹³.

Травматический опыт, таким образом, разрушает структуру intersубъективности, в которой событие может быть понято, рассказано и признано как часть человеческого мира. Для Тессы уязвимость опыта становится личной катастрофой. Все, чему она *выбирала* верить как юрист, — верить истории подзащитного, верить в то, что суд и присяжные способны выбрать самую лучшую из рассказанных историй, — рушится в момент, когда насилие касается ее самой. Ее знание о мире не исчезает, но перестает работать: слова, которыми она привыкла защищать других, становятся недоступными для описания собственного опыта. Между тем, что произошло, и тем, как об этом можно сказать, образуется пропасть.

Эпистемологическое бессилие проявляется наиболее остро там, где под сомнение поставлен не только (и не столько) статус знания, но и статус самого травматического опыта. Миранда Фрикер подчеркивает, что опыт — это форма самопонимания, делающая возможным превращение пережитого в знание¹⁴. Опыт — событие, которое обретает смысл только в пространстве доступных коллективных категорий и интерпретаций. Опыт intersубъективен: между телесным аффектом и знанием есть слой социально разделяемых смыслов, через которые человек узнает и понимает, что с ним произошло и каким образом это может быть (вы)сказано¹⁵. Когда эти герменевтические ресурсы отсутствуют или же искажены, опыт теряет возможность быть распознанным как таковой — то, что Фрикер называет герменевтической несправедливостью (*hermeneutical injustice*).

Но даже само появление категории «сексуализированное насилие» не устранило это лакуну окончательно. Несмотря на то, что в ряде стран сексуализированное насилие имеет четкую правовую базу, само социальное недоверие к женщинам, заявляющим о насилии, по-прежнему воспроизводит структуру

13 Merleau-Ponty M. *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard, 1945. P. 98. Перевод наш.

14 Fricker M. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford, 2007. P. 152–153.

15 До появления самой категории сексуализированного насилия (*sexual harassment*) женщины, подвергавшиеся домогательствам, оказывались в положении герменевтической уязвимости: у них не было понятийного ресурса, чтобы осмыслить собственный опыт. Как отмечает Фрикер, «и насильник, и жертва были когнитивно ограничены этой лакуной — ни один не обладал надлежащим пониманием того, что именно происходит» (Fricker M. *Op. cit.* P. 152). Тем не менее это ограничение было асимметричным: для насильника оно не представляет существенного недостатка, в то время как женщину оно лишало возможности осознать насилие как насилие.

герменевтической несправедливости. Признание опыта оказывается условным и зависимым от статуса, репутации и соответствия ожиданиям «надежного» свидетеля.

Травма демонстрирует предельный случай этого состояния. Это тот тип опыта, который невозможно *прожить* в момент события и потому невозможно засвидетельствовать в привычных категориях знания. Травма превосходит субъекта и подрывает саму возможность обладать опытом как таковым. Утрата статуса опыта означает не просто сомнение в достоверности произошедшего, но указывает на распад самой структуры, которая делает возможным опыт. Это структура, в которой событие может быть понято, рассказано и признано как часть человеческого мира. Травматический опыт порождает убеждения о мире, которые трудно вписать в традиционные эпистемологические категории. Женщина, пережившая насилие, в конце концов может прийти к убеждению, что она никогда не находится в безопасности; человек, переживший насилие в детстве, — что взрослым нельзя доверять. И хотя эти убеждения обладают определенным пропозициональным содержанием (то есть они могут быть артикулированы и использованы в рассуждении), они систематически обесцениваются или отбрасываются либо как не имеющие достаточного доказательного основания, либо как редуцируемые к эмоциональным реакциям (страхам, тревоге, панике). В обоих случаях сам опыт подвергается сомнению: а было ли это *на самом деле*? В праве ли мы наделять субъекта статусом того, кто знает?

Если мы допускаем, что травматический опыт разрушает мировоззрение (систему убеждений о мире), то эпистемологическая уязвимость является не исключением, а нормой для тех, чьи голоса систематически маргинализированы. Субъект оказывается в ситуации эпистемологического бессилия, где невозможно подтвердить или защитить собственный опыт и знание, поскольку сама структура признания исключает его свидетельство. Карин Фридман отмечает, что здесь происходит двойное обесценивание. Эмоции принимаются за иррациональные убеждения, а убеждения списываются на эмоциональные реакции. В результате субъект проигрывает дважды: и как носитель опыта, и как носитель знания.

В первой части пьесы Тесса описывает перекрестный допрос так:

В делах о сексуализированном насилии обычно это слова одного человека против слов другого. Да, секс действительно случился, но был ли он с согласия или нет? История должна соответствовать *юридической* [legal] правде. Сторона защиты не должна доказывать, что она действительно дала согласие — нужно всего лишь указать на то, что ОН НЕ ЗНАЛ, что НИКАКОГО СОГЛАСИЯ не было. Поэтому он *закономерно* полагал, что все хорошо. <...> Некоторые адвокаты-мужчины все еще используют эту интонацию, чтобы заставить их [женщин] чувствовать себя лгунями, сомневаться в себе (курсив наш. — М.С., С.П.).

В описанной Тессой логике судебного допроса женщина не может доказать, что насилие произошло, потому что юридический язык заранее выстроен так, чтобы сомневаться в ее свидетельстве. Достаточно, чтобы он «не знал, что согласия не было», и ее знание о собственном теле и пережитом опыте насилия теряет статус знания.

Шарлотт Ноулз предлагает рассмотреть состояние, которое мы обозначаем как эпистемологическое бессилие, не просто как некоторый недостаток в зна-

нии, но как разлад в самом способе быть-в-мире¹⁶. Когда человек свидетельствует о насилии, он — в интерпретации Ноулз — не просто передает информацию или сообщает о событии, но предпринимает попытку вернуть себе возможность быть с другими в общем поле смысла. То есть разделяет это бытие с другими. Ноулз рассматривает свидетельство как постепенное оформление понимания, которое ищет форму не только в слове, но также в жестах, мимике, дыхании¹⁷. Такое свидетельство, однако, требует наличия пространства, где говорящий и слушающий сонастроены, открыты и существуют в режиме доверия. Очевидно, что в суде такого пространства по определению быть не может, поскольку в этих условиях господствует герменевтика подозрения. Потому Ноулз справедливо отмечает, что подобное — чаще всего непропозициональное — оформление понимания может ошибочно привести суд и присяжных к убеждению, что жертва *не знает*, что она хочет сообщить, а ее неуверенность указывает на недостаточность ее показаний¹⁸. Эпистемологическое бессилие — это не просто социальная глухота, но разрыв в самой ткани возможного: человек больше не видит, где его опыт может быть принят, не чувствует направления, куда он мог бы быть обращен. Оно не просто разрушает доверие, оно делает невозможным само *бытие-с-другими*, ту форму совместного существования, в которой знание вообще становится возможным¹⁹.

До самой последней сцены в пьесе — где Тесса предоставляет суду доказательства *prima facie* — пространства доверия нет. В полицейском участке на следующее утро после изнасилования Тесса сидит перед дежурным офицером, который проводит первичный допрос:

И именно сейчас я должна описать изнасилование. Но я не хочу быть жертвой <...> Нет-нет. Я хочу быть выжившей, но... Где была ваша рука? Нога? А где была его рука? Получается, вы использовали вашу другую руку, чтобы оттолкнуть его? Ударить его? Остались ли у него на теле следы вашего сопротивления? На той руке, по которой вы его ударили? А потом... Другие части тела. *Еще больше вопросов.* Я больше не могу смотреть на офицера полиции. *Я не знаю. Я не знаю. Унижение. Беспокойство <...> А что если он скажет, что у нас не было секса? Как я смогу доказать...* (курсив наш — М.С., С.П.).

Эта сцена иллюстрирует то, о чем пишет Ноулз: неуверенность жертвы, ее неспособность предоставить необходимые доказательства в тех рамках, в которых этого требуют полицейские и судебные нормы. И Тесса в силу своей профессии понимает это, когда отправляется на досудебное медицинское освидетельствование: «Мне нужно сказать ему [офицеру полиции], что вряд ли это

16 Knowles Ch. Articulating Understanding: A Phenomenological Approach to Testimony on Gendered Violence // International Journal of Philosophical Studies. 2021. Vol. 29. № 4. P. 448–472.

17 Knowles Ch. Op. cit. P. 455.

18 Knowles Ch. Op. cit. P. 462, п. 31. Отсутствие такой сонастроенности объясняется отчасти аффективной атмосферой недоверия, созданной патриархатной и институциональными формами скептицизма. Ноулз отмечает, что установки вокруг проблемы насилия (стыд, неловкость, ложное сочувствие) формируют фон, на котором голос жертвы теряет свое звучание. Это не просто эмоциональные реакции, но формы неправильной настроенности (*misattunement*), когда сам способ *слышать* другого оказывается искажен.

19 Knowles Ch. Op. cit. P. 461–462.

что-то даст. Потому что... черт, потому что я приняла душ сразу после. О господи, я идиотка, я приняла душ и просто смысла с себя это».

Если свидетельство — это форма отклика, то есть способ быть в мире через обращение к другому и через возможность быть услышанным, то в ситуации бессилия сам этот ответ повисает в воздухе. Келли Оливер понимает свидетельство как отношение обращения и отклика: в этом процессе, как она считает, рождается субъективность²⁰. Вслед за Альтюссером и Батлер, Оливер подчеркивает, что эта способность зиждется на *response-ability* — способности откликаться. Когда же травма или насилие подрывают эту структуру, они разрушают не только доверие, но и саму возможность существования субъекта как субъекта.

В этом случае гегелевская модель признания (узнавания?) остается недостаточной, поскольку признание распределено по оси власти: маргинализованный субъект вынужден искать признания у тех же институтов и групп, которые создали условия его исключения. И, даже получив некоторое формальное признание, маргинализованные субъекты остаются в рамках той же власти, которая определяет, кто и что заслуживают быть услышанными.

Оливер точно так же подчеркивает критическое изменение способа бытия в мире: человек продолжает говорить, но его речь больше не принадлежит пространству, где слова могут что-то значить. В этом смысле эпистемологическое бессилие — не просто социальное молчание или невозможность найти слова для выражения некоторого опыта или знания. Это невозможность обмена смыслом и невозможность соприсутствия.

Выше в размышлении о травме, полученной в результате сексуализированного насилия, мы обозначили два важных момента: (i) опыт травмы превосходит субъекта и убивает жертву, создавая свидетеля, и (ii) травмированный субъект оказывается неспособным присвоить этот опыт. Каким образом происходит рождение этого нового субъекта-свидетеля? Если психоанализ признает, что травматичное событие или несчастный случай могут нанести непоправимый ущерб психике, он тем не менее «не утверждает, что личность претерпела некоторые изменения»²¹. Для Фрейда, как отмечает Малабу, всегда сохраняется некоторая психическая преемственность: субъект остается тем, кем он является, а появление свидетеля, о котором сейчас идет речь, невозможно *ex nihilo*²². Другими словами, субъект остается тем же самым субъектом, каким он был до получения травмы. Малабу рассуждает о травме в терминах деструктивной пластичности, которая в психоанализе остается неизвестной, а в неврологии — недостаточно тематизированной²³. Деструктивная пластичность характеризуется тремя главными аспектами: (i) рецепцией, (ii) данностью (*donation*) и (iii) уничтожением формы. В психоаналитической традиции пластичность понимается, скорее, в положительном смысле — как способность создать некоторую новую форму (иногда даже лучше предыдущей). Однако Малабу указывает

20 Oliver K. Witnessing, Recognition, and Response Ethics // *Philosophy & Rhetoric*. 2015. Vol. 48. №4. P. 473–493. P. 486.

21 «On voit que le modèle freudien, tout en rendant compte de l'effraction et du bouleversement de la personnalité, ne postule pas que cette personnalité soit changée» (*Crocq L. Les traumatismes psychiques de guerre*. Paris: Odile Jacob, 1999. P. 213).

22 Malabou C. *The new wounded: From neurosis to brain damage*. New York: Fordham University Press, 2012. P. 152.

23 Malabou C. *Op. cit.* P. XIX.

на другую чрезвычайно важную функцию пластичности, а именно ее способность радикального разделения предыдущей и новой формы²⁴:

Пластичность, о которой я говорю, разрывает связь между повторением и связыванием: она нарушает саму синтетическую силу сцепления, целостности и дисциплины. При этом пластичность не лишает повторения его функции, но разъединяет его со связыванием, *отдаляя повторения от того, что оно воспроизводит*²⁵ (курсив наш. — М.С., С.П.).

Деструктивная пластичность может принимать разные формы — от войн и стихийных бедствий до насильственных актов и нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера или Паркинсона). Всех жертв этих катастроф Малабу называет «новыми ранеными» (*les nouveaux blessés*), поскольку для них не существует никакого «до»²⁶. Травматичное событие навсегда отделяет жертву от ее прошлой истории: все, что случилось до этого, принадлежит человеку, который когда-то был, но теперь его уже нет. Невозможность присвоить травматичный опыт, невозможность назвать случившееся *моим*, навсегда закрывает от меня то, что было до этого, — я обретаю новую идентичность, у которой «нет детства». В диалоге с психоанализом понятие детства имеет очевидные коннотации: травматичность событий, произошедших во взрослом возрасте, так или иначе связана с событиями детства. Однако можно попробовать взглянуть на эту метафору с другой стороны.

В «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти пишет: «[п]оскольку мы в мире, поскольку мы *приговорены* к смыслу, что бы мы ни сделали, что бы ни сказали, все обретает свое имя в истории»²⁷. Такая приговоренность к смыслу может иметь как минимум две интерпретации: с одной стороны, наши действия *всегда уже* имеют смысл, поскольку совершаются в некоторой уже установленной среде значений. С другой стороны, некоторые действия могут *пока еще* не иметь точного смысла, но обретут его в ближайшем будущем. Но что если некоторые действия или события *никогда* не обретут смысл в истории? Что если они так и останутся *бессмысленностью, бредом, нонсенсом*? И главное — что если субъект сам потеряет свой *смысл* и свое *значение* в этом мире?

Травма обнаруживает предел этой приговоренности: она не просто нарушает порядок опыта, но разрушает саму возможность истории, через которую *смысл* становится доступным. Если для Мерло-Понти быть-в-мире значит уже быть вписанным в историю, для травмированного субъекта этот приговор обращается вспять — он остается в мире, но как бы исключается из его смысловой ткани, он теряет историю, через которую этот мир становится осмысленным. Смысл не исчезает полностью: субъект все еще «чувствует» (*sense*), что с ним что-то происходит, но он больше не способен соотнести это чувство с общей тканью значений, он перестает иметь смысл (*make no sense*) для других и

24 Необходимо отметить, что уничтожение предыдущей формы не влечет за собой необходимость создания новой формы. То есть негативная пластичность не предполагает, что уничтожение старого предполагает обязательное порождение чего-то нового (как в случае с позитивной пластичностью).

25 Malabou С. Op. cit. P. 198.

26 «Эта пластичность, которую мы назвали деструктивной пластичностью, это способность создавать идентичность *через потерю прежней идентичности*. Идентичность, у которой нет детства» (Malabou С. Op. cit. P. 60).

27 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 20.

для себя. Он перестает понимать, что происходит вокруг, потому что не разделяет с другими историю²⁸, в которой происходящее могло бы обрести значение. И наоборот: мир перестает понимать (*make sense of the subject*) травмированного субъекта, потому что присутствие последнего не вписывается в привычные схемы смысла. В английском языке выражение «one no longer makes any sense» передает это значение буквально: субъект больше «не делает» смысла, не производит значение. Это еще раз подтверждает, что это не просто эпистемологический сбой, но онтологическое выпадание из самой структуры смыслообразования в область, которую Франц Фанон обозначил как область небытия (*une zone de non-être*), «предельно стерильную, бесплодную, по большому счету обнаженный склон, где внезапно естественным образом может возникнуть нечто новое, неожиданное»²⁹.

В области небытия у Фанона субъект не просто отрезан от мира, он отрезан от возможности отклика. Его обращение не находит ответа, поскольку мир больше не воспринимает его как обращающегося. Здесь можно провести параллель с тем, что Айрис Янг называла «двойкой трансцендентностью» (*ambiguous transcendence*), характеризуя феминную моторику. Янг говорит об этом в терминах «Я могу» и «Я не могу»: в этом контексте уверенное или твердое «Я могу» связывает тело со внешним пространством, с которым тело взаимодействует. Подавленное намерение, в свою очередь, создает двойную пространственность: «здесь» тела отличается от «там» пространства, в котором необходимо совершить некоторое действие. Таким образом, там-пространство остается недоступным телу, которое находится «здесь». Аналогичный анализ можно применить и к эпистемологическому статусу: знание и опыт жертвы, пережившей насилие, остается «здесь» и точно так же остается непередаваемым в пространство «там», где эта история должна быть услышана.

Остановимся подробнее на этом недоступном пространстве «там». Чего это пространство хочет от субъекта? Оно требует от него стройного и логичного рассказа. Такого мнения придерживается Тесса в первой части пьесы, где выступает в качестве юристки:

Останься в стороне. Не принимай «чью-то сторону». Просто испытай закон. Испытывай его. Испытывай. Если в истории есть несостыковки — укажи на них <...>. Работа юриста не так уж возвышена, о нет, его задача не в том, чтобы *знать*, а в том, чтобы *не знать*. Система держится только потому, что каждый играет свою роль. Моя роль — защищать, роль прокурора — обвинять. Каждый из нас рассказывает историю, а дело судей и присяжных *решишь*, какой истории следует поверить. Они берут на себя ответственность. Хороший юрист просто рассказывает лучшую версию истории своего клиента. Ничего больше. Ничего иного. Лишь рассказчик — голос, через который звучит история.

28 Можно сказать, что потеря разделяемой с другими истории превращается в потерю со-временности — переживание больше не совпадает с общим временем мира.

29 Фанон Ф. Черная кожа, белые маски / Пер. с фр. Д. Тимофеева. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022. С. 7. «Il y a *une zone de non-être*, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance» (Fanon F. *Peau Noire, Masques Blancs*. Paris: Seuil, 1952. P. 29). Об этом в контексте людей, обреченных на прекарную позицию см. Батлер Д. Сила ненасилия: Сцепка этики и политики / Пер. с англ. И. Кушнаревой. М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2022.

Во второй части пьесы Тесса описывает этот процесс похожим образом:

До всей этой истории я бы тоже сказала «она что-то перепутала» — в том смысле, что если мы не в состоянии предоставить четких и ясных доказательств, в которых не было бы внутренних противоречий, то мы лжем. До всей этой истории я указывала на такие несостыковки как основания для сомнений. И говорила присяжным, что в случае таких несостыковок мы ни в чем не можем быть уверены. Как адвокат я знаю: закон не может просто закрыть глаза на непоследовательность.

Однако история и пережитый опыт насилия не согласуются и не сопрягаются с этим стройным миром логичного повествования. Эта история остается недоступной миру «там», а носитель этой истории (жертва насилия) обнаруживает себя в состоянии эпистемологического бессилия. Янг говорит, что тело, находящееся в таком состоянии, становится как бы «застрявшим в одном месте»³⁰. Таким же образом носитель травматического опыта застревает на одном месте.

В пьесе эта двоякая трансцендентность проявляется не только на эпистемологическом уровне. После произошедшего насилия пространство вокруг героини — пространство, прежде ей знакомое и в определенном смысле одомашненное — тоже изменяется. Это изменение прослеживается на трех уровнях: пространство дома, пространство работы и пространство самого тела Тессы³¹.

Утрата истории, через которую мир становится осмысленным, особенно ясно проявляется в тех сценах пьесы, где тело Тессы переживает расщепление между «здесь» и «там». В момент, когда Джулиан насилует Тессу, она буквально описывает невозможность совпасть со своим телом:

Я начинаю отталкивать его руками, он перехватывает их, и я не могу двигаться <...> Я чувствую, как я покидаю свое тело. Этого не происходит. Не происходит. Либо мне должно это понравиться, либо я должна закричать. <...> Он в другом месте, я не с ним. <...> Я там, но я не там.

В следующей сцене, где Тесса принимает душ, это *выпадение* из истории, из смысловой канвы привычной жизни, продолжается: «Я не знаю, что делать. Я выхожу из своего дома. Не очень понимая, зачем и куда идти». Тело Тессы оказывается дезориентированным. Невозможность «идти куда-то» совпадает с невозможностью символической ориентации: Тесса не знает, в какую историю себя вписать. Ее движение становится пустым. В рассуждении о дезориентации Сара Ахмед подчеркивает, что нарушение привычного порядка вещей не только разрушает установленный порядок пространства, оно также ломает субъект, это «история поломки»³². Когда дезориентированное тело

30 Young I.M. *Throwing like a girl: A phenomenology of feminine body comportment, motility, and spatiality* // *Human Studies*. 1980. Vol. 3. № 2. P. 137–156. P. 150.

31 Ср. у Мерло-Понти: «Контур моего тела — это некая граница <...>. [Ч]асти моего тела... охвачены друг другом» (*Мерло-Понти М. Феноменология восприятия* / Пер. с франц. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. М: Ювента; Наука, 1999. С. 137).

32 Ahmed S. *Living a feminist life*. Durham: Duke University Press, 2017. P. 177. В своей работе Ахмед подчеркивает, что идея привычного или знакомого пространства, пространства, в котором мы ориентированы, близка к идее дома. Дезориентация — это утрата чувства дома. И в пьесе это ощущение потерянности тоже присутствует: «Все, о чем я могу думать, это моя мама. Я просто хочу оказаться с ней дома, обнять ее на старом диване в цветочке и почувствовать ее грубое тепло».

лишается опоры, «оно может исчезнуть, разрушиться и рассыпаться, быть отброшенным»³³.

Во второй части пьесы это раздвоение становится еще более очевидным. Тесса возвращается в здание суда, где прежде работала, но теперь пространство, прежде одомашненное, наполненное профессиональными, дружескими и даже романтическими смыслами, становится совершенно чужим:

Вот она я. Наблюдаю со стороны. Наблюдаю за собой. Сквозь двери. Звук моих каблучков. Внутренняя часть Лондонского Королевского суда. Вот она я, прохожу через охрану. Отстраненная. Спокойная. Вот она я, сумка движется по ленте. В этот раз без адвокатского удостоверения и облегченного досмотра. В этот раз только я. Прохожу через металлодетектор, он пищит, снимаю свою обувь, прохожу еще раз. Вот она я — меня проверяют ручным металлоискателем. В этот раз я, я... [никто].

Повторяющееся «вот она я» можно услышать как попытку обозначить себя в пространстве, которое больше ей не принадлежит. Возможно, это акт локализации, попытка вписать себя в координаты мира, который перестал ее признавать и теперь уже относится к ней с недоверием.

Созвучную аналогию можно найти у Синно, где эта невозможность буквально проявляется на физическом уровне:

Последствия изнасилования простираются далеко за пределы области, ограниченной сексуальностью: они затрагивают все — от способности дышать до способности обращаться к другим, есть, мыться, смотреть на изображения, рисовать, говорить или молчать, воспринимать собственное существование как реальность, помнить, учиться, мыслить, *обитать в своем теле и в своей жизни, чувствовать себя способной просто быть* (курсив наш. — М.С., С.П.)³⁴.

* * *

В этой статье речь часто шла о незаинтересованном свидетеле-*testis* и пережившем события свидетеле-*superstes*. В связи с этим стоит вернуться к магистральному тезису Деррида, вдохновленному строками Пауля Целана «*Niemand zeugt für den Zeugen*» — «Никто не свидетельствует за свидетеля».

Деррида настаивает на том, что неспособный предоставить доказательства свидетель-*superstes* в конце концов остается один: в отличие от свидетеля-*testis*, он не может занять незаинтересованную позицию *tertius* — третьего, арбитра — между протагонистами и получить юридическую валидацию своих слов в суде. Этот тезис перекликается с размышлениями Рикёра о роли памяти для работы с прошлым. Сравнивая историка с незаинтересованным свидетелем, он тоже приписывает ему перформатив «Верьте мне», который предвещает свидетельство. Но это «Верьте» находит подкрепление в «А если не верите, спросите остальных». У свидетеля-*superstes* нет этих «остальных», и открытое перформативным жестом пространство между ним и слушателем

33 Ahmed S. *Queer phenomenology: Orientations, objects, others*. Durham: Duke University Press, 2006. P. 157.

34 Sinno N. *Op. cit.* P. 162.

всегда находится под угрозой непонимания, недоверия и низведения свидетельства до субъективной точки зрения, лишенной доказательств. Однако ситуация взаимного признания — счастливая встреча внимательного слушателя — все же мыслима, и именно в ней свидетель обретает Другого, преодолевая вмененное ему травмой одиночество. В некотором смысле таким «внимательным слушателем» к концу пьесы становится сама Тесса.

Однако там, где возможность быть услышанным возвращается, эпистемологическое бессилие уступает место другому типу опыта — опыту взаимного признания. Этот поворот от невозможности свидетельства к возможности быть услышанным означает не устранение разрыва, а способность удерживать его, оставаясь в нем. Для Тессы это не возвращение к прежнему знанию о мире, но создание новой формы соотнесенности с ним: знания, не нуждающегося в доказательстве, потому что истина в обращении.

В этом смысле эпистемологическое бессилие не просто фиксирует предел человеческого понимания. Оно открывает пространство, где знание становится актом веры, а свидетельство — формой мысли, способной удерживать несоизмеримое. Внимательный слушатель, к которому обращается Тесса, является не гарантом истины, но условием ее возможности. И именно в этом жесте доверия, в ответном внимании, эпистемологическое бессилие перестает быть лишь состоянием разрушения и обретает черты нового способа быть-в-мире — говорить, веря, что тебя услышат.

Библиография / References

- Батлер Д.* Сила ненасилия: Сцепка этики и политики / Пер. с англ. И. Кушнаревой. М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2022.
(*Batler D.* The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind. Moscow, 2022 — In Russ.)
- Бернет Р.* Травмированный субъект // (Пост)-феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами / Ред. С.С. Шолохова и А.В. Ямпольская. М.: Академический проект, 2014. С. 123–144.
(*Bernet R.* Le sujet traumatisé? // (Post)fenomenologiya. Novaya fenomenologiya vo Frantsii i za ee predelami / Ed. by S.S. Sholokhova, A.V. Yampol'skaya. Moscow, 2014. P. 123–144 — In Russ.)
- Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия / Пер. с франц. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. М: Ювента; Наука, 1999.
(*Merleau-Ponty M.* Phénoménologie de la perception. Moscow, 1999 — In Russ.)
- Фанон Ф.* Черная кожа, белые маски / Пер. с фр. Д. Тимофеева. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2022.
(*Fanon F.* Peau Noire, Masques Blancs. Moscow, 2022 — In Russ.)
- Ямпольская А.Я.* Гетерогенность самости: проблематизация идентичности у позднего Левинаса // ESSE: Философские и теологические исследования. 2019. Т. 4. № 2. С. 34–47.
(*Yampol'skaya A.Ya.* Geterogenost' samosti: problematizatsiya identichnosti u pozdnego Levinasa // ESSE: Filosofskiy i teologicheskiye issledovaniya. 2019. Vol. 4. № 2. P. 34–47.)
- Ahmed S.* Queer phenomenology: Orientations, objects, others. Durham: Duke University Press, 2006.
- Ahmed S.* Living a feminist life. Durham: Duke University Press, 2017.
- Crocq L.* Les traumatismes psychiques de guerre. Paris: Odile Jacob, 1999.
- Derrida J.* Poétique et politique du témoignage // J. Derrida, M.-L. Mallet et G. Michaud (eds.). Cahier de L'Herne. Paris: Éditions de L'Herne, 2004. № 83. P. 521–539.
- Fanon F.* Peau Noire, Masques Blancs. Paris: Seuil, 1952.
- Freedman K.* The Epistemological Significance of Psychic Trauma // Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. 2006. Vol. 21. № 2 (Spring). P. 104–125.

- Fricker M.* Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford: Oxford, 2007.
- Knowles Ch.* Articulating Understanding: A Phenomenological Approach to Testimony on Gendered Violence // International Journal of Philosophical Studies. 2021. Vol. 29. № 4. P. 448–472.
- Malabou C.* The new wounded: From neurosis to brain damage. New York: Fordham University Press, 2012.
- Merleau-Ponty M.* Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
- Miller S.* Prima Facie // Drama Online. 2022 (URL: <https://www.dramaonlinelibrary.com/playtext-detail?docid=do-9781784607289&tocid=do-9781784607289-div-00000004&actid=do-9781784607289-div-00000010>).
- Oliver K.* Witnessing, Recognition, and Response Ethics. // Philosophy & Rhetoric. 2015. Vol. 48. № 4. P. 473–493.
- Ricœur P.* L'écriture de l'histoire et la représentation du pass? // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2000. Vol. 55. № 4. P. 731–747.
- Romano C.* À l'écoute du témoignage // Gaudard F.Ch. & Suarez M. (éds.) Réception et usages des témoignages. Toulouse: Éditions Universitaires du Sud, 2007. P. 21–36.
- Sinno N.* Triste tigre. Paris: Gallimard, Folio, 2025 [2023].
- Young I.M.* Throwing like a girl: A phenomenology of feminine body comporment, motility, and spatiality // Human Studies. 1980. Vol. 3. № 2. P. 137–156.